

**1942**[Александр Фадеев. Дети.](#)[Константин Симонов. Дни и ночи.](#)[Илья Эренбург. 24 ноября 1942 года.](#)**1943**[Евгений Кригер. Ответ Сталинграда.](#)**1942****Александр Фадеев. Дети.**

Ленинградцы и прежде всего ленинградские женщины могут гордиться тем, что в условиях блокады они сохранили детей. Значительная часть детей была эвакуирована из Ленинграда – речь идет не о них. Речь идет о тех маленьких ленинградцах, которые прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом.

В Ленинграде создана была широкая сеть детских домов, которым голодный город отдавал лучшее из того, что имел. За три месяца я побывал во многих детских домах в Ленинграде. Но еще чаще, присев на скамейке где-нибудь в городском скверике или в парке в Лесном, я, не замечаемый детьми, часами наблюдал за их играми и разговорами. В апреле, когда я впервые увидел ленинградских детей, они уже вышли из самого трудного периода своей жизни, но печать тяжелой зимы еще лежала на их лицах и сказывалась в их играх. Это сказывалось в том, что многие дети играли в одиночку, и в том, что даже в коллективную игру дети играли молча, с серьезными лицами. Я видел лица детей, полные такой взрослой серьезности, видел детские глаза, исполненные такой думы и грусти, что эти лица и эти глаза могут сказать больше, чем все рассказы об ужасах голода.

В июле таких детей было уже немного, главным образом из числа сирот, родители которых погибли совсем недавно. У подавляющего большинства детей вид был вполне здоровый, и по своему поведению, по характеру игр, по смеху и веселости они не отличались от всяких других нормальных детей.

Это результат великого святого труда ленинградских женщин, многие из которых добровольно посвятили свои силы делу спасения и воспитания детей. Рядовая ленинградская женщина проявила здесь столько материнской любви и самоотверженности, что перед величием ее подвига можно преклониться. Ленинградцы знают примеры исключительного мужества и героизма, проявленного женщинами [143] – работниками детских домов во время опасности.

Утром в Красногвардейском районе начался интенсивный артиллерийский обстрел участка, где расположены ясли № 165. Заведующая яслими Голуткина Лидия Дмитриевна вместе с сестрой-воспитательницей Российской и санитаркой Анисифоровой под огнем стали выносить детей в укрытие. Обстрел был так силен и опасность, угрожавшая детям, была настолько велика, что женщины, чтобы успеть снести всех детей в укрытие, сваливали их по нескольку человек в одеяло и так кучами и выносили. Артиллерийским

снарядом выбило все рамы и внутренние перегородки тех домиков, в которых были расположены ясли. Но все дети – их было 170 – были спасены.

Сестра-воспитательница Российской лишь после того, как все дети были укрыты, попросила разрешения пройти к своему собственному дому, где находились трое ее детей. Приближаясь к дому, она увидела, что он горит. На помощь детям Российской пришли другие советские люди и вынесли их из огня.

Я не преувеличу, когда скажу, что я видел сотни женщин, молодых и старых, показавших такое знание детской души и такой педагогический талант, какие могут сравниться со знаниями и талантами величайших педагогов мира.

Я предоставляю слово одной из них.

«Двадцать четвертого февраля 1942 года в суровых условиях блокированного Ленинграда начинает свою жизнь наш дошкольный детский дом № 38 Куйбышевского района.

У нас сто детей. Недавно, совсем недавно перед нами стояли печальные сгорбленные дети. Все как один жались к печке и, как птенчики, убирали свои головки в плечики и воротники, спустив рукава халатиков ниже кистей рук, с плачем отвоевывая себе место у печки. Дети часами могли сидеть молча. Наш план работы первого дня оказался неудачным. Детей раздражала музыка, она им была не нужна. Детей раздражала и улыбка взрослых. Это ярко выразила Лерочка, семи лет. На вопрос воспитательницы, почему она такая скучная, Лерочка резко ответила: «А почему вы [144] улыбаетесь?» Лерочка стояла у печи, прижавшись к ней животиком, грудью и лицом, крепко зажимая уши ручками. Она не хотела слышать музыки. Музыка нарушала мысли Лерочки. Мы убедились, что многого недодумали: весь наш настрой, музыка, новые игрушки — все только усиливало тяжелые переживания детей.

Резкий общий упадок был выражен не только во внешних проявлениях детей, это было выражено во всей их психофизической деятельности, все их нервировало, все затрудняло. Застегнуть халат не может – лицо морщит. Нужно передвинуть стул с места на место – и вдруг слезы. Коля, взял стул в руки, хочет его перенести, но ему мешает Витя, стоящий у стола. Коля двигает стул ему под ноги. Витя начинает плакать. Коля видит его слезы, но они его не трогают, он и сам плачет. Ему трудно было и стул переставить, ему также трудно и говорить.

Девочка Эмма сидит и горько плачет. Эмме пять лет. Причину ее слез мы не можем выяснить, она просто молчит и на вопросы взрослых бурно реагирует – все толкает от себя и мычит: «м-м-м»... А позже узнаем, что ей трудно зашнуровать ботинок, и она плачет, но не просит помощи. У детей младшей и средней группы все просьбы и требования выражаются в форме слез, капризов, хныканья, как будто дети никогда не умели говорить.

Мы долго боролись с тем, чтобы дети без слез шли мыться. Дети плакали, обманывали, ссорились и прятались от воспитателя, объясняя это тем, что вода холодная. Валя тоже плачет, объясняет это тем, что она чистая. Она сквозь слезы говорит: «Меня мама не каждый день мыла, я совсем чистая». Шамиль из средней группы после сна садился за стол, и только вместе со стулом можно было его перенести к умывальнику. Исключительно бурную реакцию проявили дети, когда была организована первая баня в детдоме. Все малыши как один криком кричали, не желая купаться. Коля кричит: «Мылом не хочу мыться, не буду мыться!» Валя: «Мне холодно, не буду мыться!»

Дети очень долго не хотели снимать с себя рейтзузы, [145] валенки, платки и шапки, хотя в помещении было тепло. Дети украдкой ложились в постель в верхнем платье, в

чулках, в рейтузах. Трудно было отучить детей от привычки спать, под одеялом, закрываясь с головой, в позе спящего котенка. Странная поза, излюбленная у детей, – лицо в подушку, и вся тяжесть тулowiща держится на согнутых коленях, попка кверху. «Так теплее», – говорят дети.

Больно было видеть детей за столом, как они ели. Суп они ели в два приема: вначале бульон, а потом все содержимое супа.

Кашу и кисель они намазывали на хлеб. Хлеб крошили на микроскопические кусочки и прятали их в спичечные коробки. Хлеб дети могли оставлять как самую лакомую пищу и есть его после третьего блюда и наслаждались тем, что кусочек хлеба ели часами, рассматривая этот кусочек, словно какую-нибудь диковину. Никакие убеждения, никакие обещания не влияли на детей до тех пор, пока они не окрепли.

Но были случаи, когда дети прятали хлеб и по другой причине. Лерочка обычно и своей нормы не поедает – оставляет на столе и часто отдает детям. И вдруг она спрятала кусок хлеба. Лерочка сама огорчена своим поступком, она обещает больше этого не делать. Она говорит: «Я хотела вспомнить мамочку, мы всегда очень поздно в постельке кушали хлеб. Мама нарочно поздно его выкупала, и я хотела сделать, как мамочка. Я люблю свою мамочку, я хочу о ней вспоминать».

Лорик пришел к нам на второй день после смерти мамы. Ребенок физически не слабый, но его страдания, его печаль ярко выражены во всем его поведении. Лорик не отказывается ни от каких занятий, но нужно видеть, как трудно ему сосредоточиться, как ему не хочется думать по заданию, ведь он живет своими мыслями, а задание педагога мешает ему думать о своей маме. Лорик никому не говорит о маленькой пурпурнице, которую он приспособил для медальона и носит на тесемочке на шее. Одиннадцать дней Лорик прятал ее, и вот в бане он не знал, как ее уберечь, куда спрятать, он бережно держал эту вещь, смутился страшно, когда заметил, что я наблюдаю за ним. Я ничего [146] ему не сказала, не спросила ни о чем. Сам Лорик раскрыл мне свою тайну. «У меня моя мама, я берегу ее, – шепотом сказал он мне. – Я сам это сделал, сам тесемочку привязал». Он открыл крышку круглой пурпурницы, посмотрел, крепко поцеловал и не успокаивался, пока сам не увидел место, где будет храниться эта пурпурница, пока он вымоется в бане. После этого случая Лорик стал более откровенным. В этот же день он подробно все рассказал и о смерти мамы, и о смерти тети, и о том, почему не хотел никому показывать портрет. «Я хотел только один... только один... – и больше не нашел слов сказать. – Этот портрет мне сама мама дала перед смертью», И у Лорика на глаза навертываются слезы.

Одиннадцать дней страданий, воспоминаний о маме не давали проявиться богатейшим его качествам: логичной речи, богатому разнообразному творчеству, исключительной способности в рисовании. Лорику стало легче после того, как он открыл свою тайну, он ожила, сам берет материалы, быстро увлекается работой и увлекает товарищей.

Леня, семи лет, отказывается снимать вязаный колпак, даже не колпак, а бесформенную шапку, которая сползает ниже ушей и уродует его. Мы долго не могли узнать причины, почему Лене нравится эта шапка. Причина оказалась та же – Леня хранил ее как память об умершем брате. Леня говорит: «Я берегу ее, это память мне от брата, и картинки тоже я берегу. Они у меня спрятаны, а когда мне скучно, я их вынимаю и смотрю».

Женя, шести лет, пришел в детский дом и в этот же день показал всем портрет мамы и мелкие фотоснимки ее же, но сказал: «Рассказывать не буду, пускай папа рассказывает».

Женя скучает, ночью долго не засыпает, лежит с открытыми глазами молча. Ночью просит няню поднести свет, чтобы посмотреть на портрет мамы. На вопрос няни, почему он не спит, Женя отвечает: «Я думаю все о маме. А вот Вова (его младший брат, трех лет) спит, он, наверное, забыл про маму. Разрешите мне к Вовочке на кроватку лечь, тогда я засну, а так я до утра не засну. Я сам не хочу думать, а все думаю да думаю».

Лера – девочка глубоких и устойчивых переживаний. Лишенная полноценной семьи (отец уже до войны имел [147] другую семью и навещал Лерочку лишь изредка), она была страстно привязана к матери. Тридцатилетняя женщина, нежно любившая дочь, увлекавшаяся рисованием, пляской, рукоделием, сделалась для Леры идеалом всего прекрасного. Горе своей потери девочка переживает чрезвычайно тяжело и упорно. Она болезненно цепляется за все, что хотя бы немногим напоминает ей мать и былую жизнь дома. Проникается симпатией к тем людям, которые случайно назовут ее так, как называла мать. Может целый день рисовать: она занималась этим с мамой.

С ребятами Лера скрытна, замкнута, ко многим относится с пренебрежением, подмечая их недостатки и давая им прозвища: «Я презираю Леню, он ест так противно, да и вообще мямя какая-то, просто петух бесхвостый». Или: «Этот Боря ходит, как крадется, он по шкафам лазает, а говорит так, что ничего не поймешь... крыса». С избранными взрослыми Лера любит поговорить и рассказать про свои переживания. Она сообразительна и наблюдательна. Ее рассуждения и рассказы всегда последовательны и логичны. Ее рисунки и аппликативные работы оригинальны по замыслу. В своих эмоциях Лера сильна и страстна. Она способна утром поколотить девочку, которая мешала ей спать ночью.

Но Лера честна и в своих поступках всегда сознается, причем их обосновывает – не в оправдание себе, а скорее желая сама выяснить причину. Она сильна и страстна не только в злом, но и в хорошем. Это милая девочка, с большими вдумчивыми, полными печали серыми глазами. Она дичилась нас первое время, пряталась в угол, опустив головку, что-то переживала про себя, но никому ничего не говорила. Но после того, как она поделилась своим горем в первый раз, ей стало легче. На Леру легко влиять лаской, разумной беседой.

Вот перед нами чудный мальчик, его имя Эрик. Дети и взрослые любят его за исключительную нежность, которую он проявляет ко всем. Но Эрик не любит никаких занятий. Он говорит: «Что-то не хочется» или «Я плохо себя чувствую». Молчаливый, он часто подходит к окну или выходит на балкон. Его взоры сейчас же устремляются на противоположный дом, откуда его привели и где он потерял [148] маму. Однажды во время дневного сна Эрик, закрывшись с головой, тихо плачет. Воспитательница встревожена – не болен ли ребенок, но Эрик объясняет: «Я вспомнил, как у нас мама умерла, мне жалко ее, она ушла за хлебом рано утром и целый день до ночи не возвращалась, а дома было холодно. Мы лежали в кроватке вместе с братом, мы все слушали – не идет ли мама. Как только хлопнет дверь, так и думаем, что это наша мамочка идет. Стало темно, а мама наша все не шла, а когда она вошла, то упала на пол. Я побежал через дом и там достал воды, и дал маме воды, а она не пьет. Я ее на кровать притащил, она очень тяжелая, а потом соседки сказали, что она умерла. Я так испугался, но я не плакал, а сейчас не могу, мне ее очень жаль».

Я привел здесь эти отрывки из официального отчета заведующей детским домом № 38 для того, чтобы показать, какой высоты понимания детской психики и любви к детям достигли лучшие женщины Ленинграда, посвятившие себя делу спасения детей-сирот и делу их воспитания. Я должен сказать здесь, что детский дом № 38 примечателен именно

тем, что через него прошли в подавляющем большинстве дети, оставшиеся без родителей, и что к тому времени, когда этот отчет попал мне в руки, все эти дети были уже нормальными детьми!

В то же время этот официальный отчет заведующей детским домом № 38 является одним из тех великих и страшных счетов, которые наш народ должен предъявить и предъявит врагу. Пусть позор преступления против жизни, счастья и души наших детей навеки ляжет проклятием на головы убийц. Вся подлая животная жизнь всех этих гитлеров и герингов и сотен тысяч и миллионов немцев, развращенных ими и доведенных ими до последней степени вырождения и зверства, не стоит единой слезинки нашего ребенка. За каждую эту слезинку они должны заплатить и заплатят потоками своей черной крови.

А в памяти человечества навеки сохранится прекрасный и величественный облик ленинградской женщины-матери как символ великой и бессмертной всечеловеческой любви, которая – придет время! – будет господствовать над всем миром. [149]

## 1942

**Константин Симонов. Дни и ночи.**

Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет. Когда через много лет мы начнем вспоминать и наши уста произнесут слово «война», то перед глазами встанет Сталинград, вспышки ракет и зарево пожарищ, в ушах снова возникнет тяжелый бесконечный грохот бомбекки. Мы почуем удушливый запах гари, услышим сухое громыхание перегоревшего кровельного железа.

Немцы осаждают Сталинград. Но когда здесь говорят «Сталинград», то под этим словом понимают не центр города, не Ленинскую улицу и даже не его окраины, – под этим понимают всю огромную, шестидесятипятикилометровую полосу вдоль Волги, весь город с его предместьями, с заводскими площадками, с рабочими городками. Это -много- городков, создавших один город, который опоясал собой целую излучину Волги. Но этот город уже не тот, каким мы видели его с волжских пароходов. В нем нет поднимающихся веселой толпой в гору белых домов, нет легких волжских пристаней, нет набережных с бегущими вдоль Волги рядами купален, киосков, домиков. Теперь [282] это город дымный и серый, над которым день и ночь пляшет огонь и вьется пепел. Это город-солдат, опаленный в бою, с твердынями самодельных бастионов, с камнями героических развалин.

И Волга под Сталинградом – это не та Волга, которую мы видели когда-то, с глубокой и тихой водой, с широкими солнечными плесами, с вереницей бегущих пароходов, с целыми улицами сосновых плотов, с караванами барж. Ее набережные изрыты воронками, в ее воду падают бомбы, поднимая тяжелые водяные столбы. Взд и вперед через нее идут к осажденному городу грузные паромы и легкие лодки. Над ней брякает оружие, и окровавленные бинты раненых видны над темной водой.

Днем в городе то здесь, то там полыхают дома, ночью дымное зарево охватывает горизонт. Гул бомбекки и артиллерийской канонады день и ночь стоит над содрогающейся землей. В городе давно уже нет безопасных мест, но за эти дни осады здесь привыкли к отсутствию безопасности. В городе пожары. Многих улиц уже не существует. Еще оставшиеся в городе женщины и дети ютятся в подвалах, роют пещеры в спускающихся к Волге оврагах. Уже месяц штурмуют немцы город, уже месяц хотят овладеть им во что бы то ни стало. На улицах валяются обломки сбитых бомбардировщиков, в воздухе рвутся

снаряды зениток, но бомбейка не прекращается ни на час. Осаждающие стараются сделать из этого города ад.

Да, здесь трудно жить, здесь небо горит над головой и земля содрогается под ногами. Опаленные трупы женщин и детей, сожженных фашистами на одном из пароходов, взывая к мести, лежат на прибрежном волжском песке.

Да, здесь трудно жить, больше того: здесь невозможно жить в бездействии. Но жить сражаясь – так жить здесь можно, так жить здесь нужно, и так жить мы будем, отстаивая этот город среди огня, дыма и крови. И если смерть у нас над головой, то слава рядом с нами: она стала нам сестрой среди развалин жилищ и плача осиротевших детей.

Вечер. Мы стоим на окраине. Впереди расстилается поле боя. Дымящиеся холмы, горящие улицы. Как всегда на юге, начинает быстро темнеть. Все заволакивается иссиня-черной дымкой, которую разрывают огненные стрелы гвардейских минометных батарей. Обозначая передний край, по огромному [283] кольцу взлетают в небо белые сигнальные немецкие ракеты. Ночь не прерывает боя. Тяжелый грохот: немецкие бомбардировщики опять обрушили бомбы на город за нашей спиной. Гул самолетов минуту назад прошел над нашими головами с запада на восток, теперь он слышен с востока на запад. На запад прошли наши. Вот они развесили над немецкими позициями цепь желтых светящихся «фонарей», и разрывы бомб ложатся на освещенную ими землю.

Четверть часа относительной тишины – относительной потому, что все время продолжает слышаться глухая канонада на севере и юге, сухое потрескивание автоматов впереди. Но здесь это называют тишиной, потому что другой тишины здесь уже давно нет, а что:нибудь надо же называть тишиной!

В такие минуты разом вспоминаются все картины, прошедшие перед тобой за эти дни и ночи, лица людей, то усталые, то разгоряченные, их бессонные яростные глаза.

Мы переправлялись через Волгу вечером. Пятна пожаров становились уже совсем красными на черном вечернем небе. Самоходный паром, на котором мы переезжали, был перегружен: на нем было пять машин с боеприпасами, рота красноармейцев, несколько девушек из медсанбата. Паром шел под прикрытием дымовых завес, но переправа казалась все-таки долгой. Рядом со мной на краю парома сидела двадцатилетняя военфельдшер девушка-украинка по фамилии Щепеня, с причудливым именем Виктория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или пятый раз.

Здесь, в осаде, обычные правила эвакуации раненых изменились: санитарные учреждения уже негде было размещать в этом горящем городе; фельдшеры и санитарки, собрав раненых, прямо с передовых сами везли их через город, погружали на лодки, на паромы, а перевезя на ту сторону, возвращались обратно за новыми ранеными, ждавшими их помощи. Виктория и мой спутник, редактор «Красной звезды» Вадимов, оказались земляками. Половину пути они оба наперебой вспоминали Днепропетровск, свой родной город, и чувствовалось, что в сердцах своих они не отдали его немцам и никогда не отдадут, что этот город, что бы ни случилось, есть и всегда будет их городом.

Паром уже приближался к сталинградскому берегу.

— А все-таки каждый раз немножко страшно выходить, — [284] вдруг сказала Виктория. — Вот меня уже два раза ранили, один раз тяжело, а я все не верила, что умру, потому что я же еще не жила совсем, совсем жизни не видела. Как же я вдруг умру?

У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненой, уже пятнадцать месяцев воевать и в пятый раз ехать сюда, в Сталинград. Еще так много впереди – вся жизнь, любовь, может

быть, даже первый поцелуй, кто знает! И вот ночь, сплошной грохот, горящий город впереди, и двадцатилетняя девушка едет туда в пятый раз. А ехать надо, хотя и страшно. И через пятнадцать минут она пройдет среди горящих домов и где-то на одной из окраинных улиц, среди развалин, под жужжание осколков, будет подбирать раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь вернется сюда, в шестой раз.

Вот уже пристань, крутой подъем в гору и этот страшный запах спаленного жилья. Небо черное, но остовы домов еще черней. Их изуродованные карнизы, наполовину обломленные стены врезаются в небо, и, когда далекая вспышка бомбы делает небо на минуту красным, развалины домов кажутся зубцами крепости.

Да это и есть крепость. В одном подземелье работает штаб. Здесь, под землей, обычная штабная сутолока. Выстукивают свои точки и тире бледные от бессонницы телеграфистки и, запыленные, запорошенные, как снегом, обвалившейся штукатуркой, проходят торопливым шагом офицеры связи. Только в их донесениях фигурируют уже не нумерованные высоты, не холмы и рубежи обороны, а названия улиц, предместий, поселков, иногда даже домов.

Штаб и узел связи спрятаны глубоко под землею. Это мозг обороны, и он не должен быть подвергнут случайностям. Люди устали, у всех тяжелые, бессонные глаза и свинцовые лица. Я пробую закурить, но спички одна за другой мгновенно потухают — здесь, в подземелье, мало кислорода.

Ночь. Мы почти на ощупь едем на разбитом «газике» из штаба к одному из командных пунктов. Среди вереницы разбитых и сожженных домов один целый. Из ворот, громыхая, выезжают скрипучие подводы, груженные хлебом: в этом уцелевшем доме пекарня. Город живет, живет — что [285] бы ни было. Подводы едут по улицам, скрипя и вдруг останавливаясь, когда впереди, где-то на следующем углу, вспыхивает ослепительный разрыв мин.

Утро. Над головой ровный голубой квадрат неба. В одном из недостроенных заводских зданий расположился штаб бригады. Улица, уходящая на север, в сторону немцев, простреливается вдоль минометным огнем. И там, где когда-то, может быть, стоял милиционер, указывая, где можно и где не должно переходить улицу, теперь под прикрытием обломков стены стоит автоматчик, показывая место, где улица спускается под уклон и где можно переходить невидимо для немцев, не обнаруживая расположения штаба. Час назад здесь убило автоматчика. Теперь — здесь стоит новый и по-прежнему на своем опасном посту «регулирует движение».

Уже совсем светло. Сегодня солнечный день. Время близится к полудню. Мы сидим на наблюдательном пункте в мягких плюшевых креслах, потому что наблюдательный пункт расположен на пятом этаже в хорошо обставленной инженерской квартире. На полу стоят снятые с подоконников горшки с цветами, на подоконнике укреплена стереотруба. Впрочем, стереотруба здесь для более дальнего наблюдения, так называемые передовые позиции отсюда видны простым глазом. Вот вдоль крайних домов поселка идут немецкие машины, вот проскочил мотоциclist, вот идут пешие немцы. Несколько разрывов наших мин. Одна машина останавливается посреди улицы, другая, заметавшись, прижимается к домам поселка. Сейчас же с ответным завыванием через наши головы в соседний дом ударяют немецкие мины.

Я отхожу от окна к стоящему посреди комнаты столу. На нем в вазочке засохшие цветы, книжки, разбросанные ученические тетради. На одной аккуратно, по линейкам, детской рукой выведено слово «сочинение». Да, как и во многих других, в этом доме, в

этой квартире жизнь оборвалась на полуслове. Но она должна продолжаться, и она будет продолжаться, потому что именно для этого ведь дерутся и умирают здесь, среди развалин и пожарищ, наши бойцы.

Еще один день, еще одна ночь. Улицы города стали еще пустыннее, но сердце его бьется. Мы подъезжаем к [286] воротам завода. Рабочие-дружинники, в пальто и кожанках, перепоясанных ремнями, похожие на красногвардейцев восемнадцатого года, строго проверяют документы. И вот мы сидим в одном из подземных помещений. Все, кто остался охранять территорию завода и его цехи – директор, дежурные, пожарники и рабочие самообороны, – все на своих местах.

В городе нет теперь просто жителей – в нем остались только защитники. И, что бы ни было, сколько бы заводы ни вывезли станков, цех всегда остается цехом, и старые рабочие, отдавшие заводу лучшую часть своей жизни, оберегают до конца, до последней человеческой возможности эти цехи, в которых выбиты стекла и еще пахнет дымом от только что потушенных пожаров.

— Мы здесь еще не все отметили, – кивает директор на доску с планом заводской территории, где угольниками и кружочками аккуратно отмечены бесчисленные попадания бомб и снарядов.

Он начинает рассказывать о том, как несколько дней назад немецкие танки прорвали оборону и устремились к заводу. Надо было чем-то срочно, до ночи, помочь бойцам и заткнуть прорыв. Директор вызвал к себе начальника ремонтного цеха. Он приказал в течение часа выпустить из ремонта те несколько танков, которые были уже почти готовы. Люди, сумевшие своими руками починить танки, сумели в эту рискованную минуту сесть в них и стать танкистами.

Тут же, на заводской площадке, из числа ополченцев -рабочих и приемщиков – было сформировано несколько танковых экипажей; они сели в танки и, прогрохотав по пустому двору, прямо через заводские ворота поехали в бой. Они были первыми, кто оказался на пути прорвавшихся немцев у каменного моста через узкую речку. Их и немцев разделял огромный овраг, через который танки могли пройти только по мосту, и как раз на этом мосту немецкую танковую колонну встретили заводские танки.

Завязалась артиллерийская дуэль. Тем временем немецкие автоматчики стали переправляться через овраг. В эти часы завод против немецкой пехоты выставил свою, заводскую, – вслед за танками у оврага появились два отряда ополченцев. Одним из этих отрядов командовали начальник [287] милиции Костюченко и заведующий кафедрой механического института Панченко, другим управляли мастер инструментального цеха Попов и старый сталевар Кривулин. На обрывистых скатах оврага завязался бой, часто переходивший в рукопашную. В этих схватках погибли старые рабочие завода: Кондратьев, Иванов, Володин, Симонов, Момотов, Фомин и другие, имена которых сейчас повторяют на заводе.

Окраины заводского поселка преобразились. На улицах, выходивших к оврагу, появились бастионы. В дело пошло все: котельное железо, броневые плиты, корпуса разобранных танков. Как в гражданскую войну, жены подносили мужьям патроны и девушки прямо из цехов шли на передовые и, перевязав раненых, оттаскивали их в тыл... Многие погибли в тот день, но этой ценой рабочие-ополченцы и бойцы задержали немцев до ночи, когда к месту прорыва подошли новые части.

Пустынны заводские дворы. Ветер свистит в разбитых окнах. И когда близко разрывается мина, на асфальт со всех сторон сыплются остатки стекол. Но завод дерется

так же, как дерется весь город. И если к бомбам, к минам, к пулям, к опасности вообще можно привыкнуть, то, значит, здесь к ней привыкли. Привыкли так, как нигде.

Мы едем по мосту через один из городских оврагов. Я никогда не забуду этой картины. Овраг далеко тянется влево и вправо, и весь он кишит, как муравейник, весь он изрыт пещерами. В нем вырыты целые улицы. Пещеры; накрыты обгорелыми досками, тряпьем – женщины стащили сюда все, чем можно закрыть от дождя и ветра своих птенцов. Трудно сказать словами, как горько видеть вместо улиц и перекрестков, вместо шумного города ряды этих печальных человеческих гнезд.

Опять окраина – так называемые передовые. Обломки сметенных с лица земли домов, невысокие холмы, взрытые минами. Мы неожиданно встречаем здесь человека – одного из четверых, которым с месяц назад газеты посвящали целые передовицы. Тогда они сожгли пятнадцать немецких танков, эти четверо бронебойщиков – Александр Беликов, Петр Самойлов, Иван Олейников и вот этот, Петр Болото, который сейчас неожиданно оказался здесь, перед нами. Хотя, в сущности, почему неожиданно? Такой человек, как [288] он, и должен был оказаться здесь, в Сталинграде. Именно такие, как он, защищают сегодня город. И именно потому, что у него такие защитники, город держится вот уже целый месяц, вопреки всему, среди развалин, огня и крови.

У Петра Болото крепкая, коренастая фигура, открытое лицо с прищуренными, с хитринкой глазами. Вспоминая о бое, в котором они подбили пятнадцать танков, он вдруг улыбается и говорит:

— Когда на меня первый танк шел, я уже думал – конец света наступил, ей-богу. А потом ближе танк подошел и загорелся, и уже вышло не мне, а ему конец. И, между прочим, знаете, я за тот бой цигарок пять скрутил и скурил до конца. Ну, может быть, не до конца – врать не буду, – но все-таки скрутил пять цигарок. В бою так: ружье отодвинешь и закуришь, когда время позволяет. Курить в бою можно, только промахиваться нельзя. А то промахнешься и уже не закуришь – вот какое дело...

Петр Болото улыбается спокойной улыбкой человека, уверенного в правоте своих взглядов на солдатскую жизнь, в которой иногда можно отдохнуть и перекурить, но в которой нельзя промахнуться.

Разные люди защищают Сталинград. Но у многих, у очень многих есть эта широкая, уверенная улыбка, как у Петра Болото, есть спокойные, твердые, не промахивающиеся солдатские руки. И поэтому город дерется, дерется даже тогда, когда то в одном, то в другом месте это кажется почти невозможным.

Набережная, вернее, то, что осталось от нее – остовы сгоревших машин, обломки выброшенных на берег барж, уцелевшие покосившиеся домишкы. Жаркий полдень. Солнце заволокло сплошным дымом. Сегодня с утра немцы опять бомбят город. Один за другим на глазах пикируют самолеты. Все небо в зенитных разрывах: оно похоже на пятнистую серо-голубую шкуру какого-то зверя. С визгом кружатся истребители. Над головой, не прекращаясь ни на минуту, идут бои. Город решил защищаться любой ценой, и если эта цена дорога и подвиги людей жестоки, а страдания их неслыханны, то с этим ничего не поделаешь: борьба идет не на жизнь, а на смерть.

Тихо плескаясь, волжская вода выносит на песок к нашим ногам обгоревшее бревно. На нем лежит утопленница, [289] обхватив его опаленными скрюченными пальцами. Я не знаю, откуда принесли ее волны. Может быть, это одна из тех, кто погиб на пароходе, может быть, одна из погибших во время пожара на пристанях. Лицо ее искажено: муки перед смертью были, должно быть, невероятными. Это сделал враг, сделал на наших

глазах. И пусть потом он не просит пощады ни у одного из тех, кто это видел. После Сталинграда мы его не пощадим.

24 сентября 1942 года

## 1942

**Илья Эренбург. 24 ноября 1942 года.**

«Наступление продолжается» – эти заключительные слова русских сообщений, передаваемых по радио, звучат, как смутный гул шагов. Идет Красная Армия. Идет также История.

Еще недавно Гитлер торжественно заявил, что он возьмет Сталинград. Немцы тогда удивлялись, почему бесноватый фюрер так скромен, почему он не обещает им ни Москву, ни Баку, ни мира. Зато они были уверены, что Сталинград у фюрера в кармане.

Все помнят, как год тому назад немцы смотрели в бинокль на Москву. Этот бинокль стал символическим. В Сталинграде немцы обходились без бинокля. Два месяца шли уличные бои. Немцы прекрасно видели развалины завода или дома, которые они атаковали в течение дней, иногда недель. Несколько сот шагов отделяли их от цели, но эти несколько сот шагов были непереходными, они были стойкостью и мужеством Красной Армии. Может быть, будущий историк напишет, что в годы второй мировой войны не раз бывали опасные повороты, когда всего несколько сот шагов отделяли гитлеровскую Германию от победы. Но эти несколько сот шагов были непримиримостью и упорством свободных народов. [300]

Еще недавно немцы объявляли битву за Сталинград своей победой. Поэтому они охотно подчеркивали трудности битвы: тем почетнее роль победителя. 14 ноября «Берлинер берзенцайтунг» поместила статью своего военного корреспондента со Сталинградского фронта, которая начинается следующими, скажем прямо, неосторожными словами: «Борьба мирового значения, происходящая в районе Сталинграда, оказалась огромным решающим сражением». Дальше корреспондент пытается объяснить немцам длительность захвата Сталинграда: «Разве когда-нибудь случалось, чтобы полковые штабы приходилось выкуривать из канализационных труб? Мы приводим только один из ежедневных сюрпризов этой «крысиной войны». Впервые в истории современный город удерживается вплоть до разрушенной последней стены. Брюссель и Париж капитулировали. Даже Варшава согласилась на капитуляцию... Но советский солдат борется с тупой покорностью зверя...» Что думает теперь корреспондент «Берлинер берзенцайтунг» о роли Сталинграда? Впрочем, вероятно, он думает о более частных вопросах, как, например, о возможности выбраться из «завоеванного» Сталинграда...

Еще недавно даже наши друзья склонны были считать судьбу Сталинграда предрешенной. Издалека стойкость защитников этого города представлялась прекрасным безумием, бесцельным избытком мужества. На самом деле защита Сталинграда была частью большого стратегического плана. Защита Сталинграда подготовила теперешнее наступление. Несколько сот шагов, отделявших немцев от завода «Красный Октябрь», оказались, как справедливо отметил немецкий журналист, полными «мирового значения». Защитники Сталинграда упорно удерживали каждый метр земли. Это позволило русским армиям на двух флангах пройти за несколько дней добрых сто километров. Защитники Сталинграда не страшились окружения. Кто теперь окружен? Гитлеровцы и их вассалы.

На близких подступах к Сталинграду и в самом городе немцы сосредоточили около двадцати дивизий. Эти дивизии еще недавно можно было назвать отборными. В ежедневных боях немцы несли огромные потери. Однако и поныне у них в Сталинграде значительные силы. Русское наступление началось на обоих флангах, где немцы занимали сильно [301] укрепленные рубежи, по большей части на берегах рек. Здесь десятки вражеских дивизий, казалось, ограждали немецкую группу, которая вела бои в Сталинграде.

Задачи Красной Армии были сложны. Наступающим пришлось преодолеть чрезвычайно сильное сопротивление. Калач, Абганерово, Кривомузгинская и некоторые другие пункты представляли собой мощные узлы сопротивления. Конечно, и в этой обороне имелись свои слабые места. Разведка их обнаружила. Это было первой порукой успеха.

В статье «Берлинер берзенцайтунг», которую я цитировал, имеются следующие размышления: «Мы узнали цель, которую преследовал противник при обороне Сталинграда. Сильное предмостное укрепление на западном берегу Волги должно было стать исходной точкой для атак зимой. В соединении с ударами с севера по нашей фланговой позиции наши силы на Волге должны были быть ослаблены клещеобразным наступлением...» Немецкий журналист говорил о русских планах с усмешкой: он думал, что опасность предотвращена. А неделю спустя газета с его статьей, прибывшая на самолете из Берлина в штаб немецкой дивизии, вместе со штабом попала в руки красноармейцев.

Немцы не ждали одновременного удара на двух флангах. В начале осени отдельные операции русских происходили то на северном, то на южном фланге, что давало возможность немцам перебрасывать силы. Одновременный удар оказался для противника фатальным.

Наступательные операции были хорошо подготовлены. Переброска войск с восточного берега Волги происходила ночью. В ряде мест наступающие прорвали оборону. Кое-где противник пытался предпринять сильные контратаки, но все они потерпели неудачу. Сильный артиллерийский и минометный огонь ломал вражеское сопротивление. В ряде мест дальнобойные орудия уничтожали штабы противника, и фашистские войска, лишенные руководства, уже не отступали, но убегали. Большое количество пленных свидетельствует о деморализации противника. Много пленных из окруженной и разбитой наголову немецкой мотодивизии.

Когда нацисты наступают, они едут, как господа, с прислугой. В тяжелые минуты господа забывают о челяди. [302]

Если итальянцы это узнали в Ливии, то румыны ознакомились с этим под Сталинградом.

Подвижные части Красной Армии, прорываясь в тылы противника, вносят еще большее смятение, уничтожают самолеты на полевых аэродромах, склады и тыловые штабы.

Сражение за Сталинград представляет для Гитлера нечто большее, чем одну из битв: здесь поставлен на карту престиж фюрера. Немцы растеряны, но мы должны ожидать упорного сопротивления. События в Африке уже ударили по нервам Германии. Зима и так не сулила немцам ничего отрадного. Гитлер, конечно, сделает все, чтобы избежать отступления от Сталинграда, тем паче что это отступление может легко превратиться в катастрофу. Упорные бои продолжаются. Продолжается и наступление Красной Армии.

Оно встречено с радостью всей Россией. Надо думать, оно воодушевит и наших союзников, сражающихся в Африке: после конца начала не пора ли перейти к началу конца?

**1943**

**Евгений Кригер. Ответ Сталинграда.**

Когда-нибудь в далеком будущем историки снова и снова вернутся к изучению поразительного явления в области военного искусства – обороне Сталинграда в 1942 году. Они ничего не смогут понять, если не примут в расчет один фактор, не поддающийся графическому изображению на картах и схемах.

В те дни советская страна находилась под угрозой небывалой, зловещей. Немцы под Сталинградом, в самом Сталинграде, немцы на горных перевалах Кавказа, в калмыцких степях, на подступах к нефти, немцы рвутся к Астрахани, заносят окровавленный меч над великой русской рекой, грозят перерубить гигантскую, питающую фронт артерию — Волгу. У всех на сердце великое слово: Сталинград. И в нем для миллионов людей и тревога, и гордость, и боль, и суровая прочная слава — на века, для потомков.

Изучая карту сталинградской обороны, будущие военные исследователи увидят, что все преимущества были на стороне гитлеровской армии. Множество сухопутных дорог для подвоза войск и боеприпасов к линии фронта [12] (в то время как у защитников города одна переправа — через Волгу), обширная территория для маневра (у нас же позиции узкой полосой вытянуты вдоль берега Волги, втиснуты в каменную тесноту города и на многих участках расположены ниже немецких позиций). И, наконец, появление под стенами города колоссальных сухопутных и воздушных сил против немногочисленного в первые дни сталинградского гарнизона.

Все это вместе взятое покажет историкам, что в подобных случаях защитить город было немыслимо и самый факт успешной обороны в течение многих месяцев противоречит обычному представлению о человеческих возможностях.

И ничего не поймут добросовестные и точные исследователи, если забудут о самом важном факторе — о свойствах русских людей, о нравственной силе советского человека.

В Сталинграде, как и всюду, на всех фронтах, ядро армии, ядро обороны составляли люди, родившиеся после Октября и воспитанные революцией, подвигами партии и народа. Многие из них, зарывшись с винтовками в разрушенный немецкими бомбами камень, помнили железные ночи Тракторостроя, Магнитки, Кузнецка, бураны в степи, ледяной ветер, от которого дыхание застыпало во рту и кожа трескалась на руках, помнили оркестры, игравшие марши в буранах, труд комсомольцев-бетонщиков, арматурщиков, гнавших бетон днем и ночью, чтобы заводы были построены к сроку на Волге, на Урале, в Сибири.

Сталинград — город нашей молодости. Молодые заводы, молодые сады на левом берегу Волги, новые школы и институты, новые улицы. Я видел юношей и стариков, плакавших при виде горящего города, в котором многое было создано их руками.

Нож войны гитлеровцы вонзили в живое тело города. Молодой танкист, бывший учитель, рассказывал мне: он видел девочку, заваленную грудой камней на третьем этаже здания. Ее нельзя было вытащить. При малейшей попытке высвободить ее камень задавил бы девочку насмерть. Учитель видел хирурга, приступившего к чудовищной операции. Чтобы спасти девочке жизнь, нужно было отсечь ей зажатую камнем ногу. У девочки уже

не было сил кричать: несколько [13] часов она висела над дымящейся улицей. Внезапно хирург прервал операцию: немцы добили ребенка осколком.

Среди развалин, взывающих о мщении, в оцепенении города, раздавленного войной, в пламени и в дыму вдруг возникает детский хоровод. Взявшись за руки, дети танцуют. Это немыслимо. Тот, кто видел это, вздрагивал, будто глаза его поразила острая, резкая боль. Но это каменный хоровод – чудом сохранившаяся, исцарапанная осколками, опаленная пожарищем скульптурная группа: дети танцуют. Все, что осталось от площади. Этого я не забуду.

Таким мы видели Сталинград не одну ночь и не один день. Пламя войны терзало его многие недели, и уже не хватало в сердце горечи, чтобы до конца осознать нечеловеческую муку людей Сталинграда. И боль становилась злой, сухой и едкой, как порох, брошенный на обнаженную рану. И самые простые, обыкновенные люди становились тогда солдатами невиданной обороны.

Много степных дорог вело с запада к городу, в район немецкой осады. Неделями, месяцами Гитлер гнал по этим дорогам войска, машины, снаряды, резервы, а у защитников Сталинграда была одна переправа, единственный путь к городу – через Волгу, в дыму, под бомбами и снарядами, под пулеметным огнем. Но одна русская переправа стоила многих немецких дорог. Город держался. По вздыбленной взрывами реке к нему пробирались волжские баржи с резервами, с боеприпасами, люди на берегу выстраивались в цепь, в реве и грохоте бомбардировок перебрасывались с руки мины, снаряды до самой линии боя, где люди срослись с камнем, и камень стал тверже, гнулись и ломались об него зубья вражеской военной машины.

Зашитники Сталинграда, начиная от волжских лодочников на переправе до командиров дивизий и армий, дрались там, где драться было уже невозможно, стояли там, где выстоять было немыслимо, сражались в грудах камня, размолотого немецкими бомбами, изгрызенного немецкими танками, обращенного в пыль немецкими машинами и снарядами. Они решили, что не уйдут, хотя бы на их головы свалился весь ад войны, и они не ушли.

Гитлеровские военные обозреватели называли это «бессмысленной храбростью русских». Гитлеровцы считали, что Сталинград более не может обороняться. На узкие [14] кварталы города они сбрасывали не только бомбы, они сбрасывали листовки, обращенные к гвардейцам генерала Родимцева, к солдатам генерала Чуйкова, и в листовках изображали схему их окружения грандиозными силами немцев и убеждали, что сопротивление бесполезно, нужно прекратить борьбу, сохранить себе жизнь и сдаться.

Солдаты знали своих генералов. Они понимали, что немцы хотят посеять в лагере осажденных эпидемию страха. Солдаты топтали листовки ногами и снова бросались в атаку.

Тогда немцы решили довершить свой удар новым штурмом. Они начали штурмовать волю, психику, нравственную силу защитников города.

В небе ни на минуту не умолкал вой фашистских самолетов. Бомбардировщики появлялись с первыми лучами солнца и уходили только с темнотой. В один из самых трудных дней обороны они сбросили на узкий участок шириной в полтора километра две тысячи тонн бомб. Это – 1850 самолето-вылетов, 1850 ударов парового молота по хрупкому камню, в котором – люди. Взять измором нервы русского человека, долбить и долбить, ибо даже капля воды, падая непрестанно в течение многих и многих часов, может пробить человеческий череп и добраться до мозга.

Вслед за бомбардировкой гитлеровцы вводили в проломы свои танки, и перемолотый бомбами камень хрустел под стальными гусеницами, как во время пытки хрустят на дыбе человеческие кости.

Не было еще сражения, которое длилось бы непрерывно из часа в час, из минуты в минуту, неделями, месяцами. Такое сражение выдержали защитники волжского города.

В августе у германских генералов не было и тени сомнения в том, что Сталинград скоро, через несколько дней, будет немецким. Но еще в ноябре корреспондент «Берлинер берзенцайтунг» писал угрюмо:

«Борьба мирового значения, происходящая вокруг Сталинграда, оказалась огромным, решающим сражением. Участникам борьбы за Сталинград известны лишь ее отдельные ужасные детали, они не могут оценить ее во всем объеме и предвидеть ее конец. Если среди многих тысяч найдется Гойя, то пусть кисть его когда-либо изобразит [15] потомкам все ужасы этой уличной борьбы. У тех, кто переживет сражение, перенапрягая все свои чувства, этот ад останется навсегда в памяти, как если бы он был выжжен каленым железом. Только позднее будут зарегистрированы характерные признаки этой войны, не имеющей precedентов в истории войн, и будет создано тактическое учение об уличной борьбе, которая нигде еще не происходила в таких масштабах, с участием всех средств технической войны и в течение такого продолжительного времени. Впервые в истории современный город удерживается войсками вплоть до разрушения последней стены. Брюссель и Париж капитулировали. Даже Варшава согласилась на капитуляцию. Но этот противник не жалеет собственный город и не сдается, несмотря на тяжелые условия обороны».

Так писал гитлеровский корреспондент.

Фашистам хотелось бы, чтобы, «жалея собственный город», русские отдали его на растерзание фашизму. Но русские действительно жалели свой город, и они спасали его, они отстояли его, хотя, согласно «классической» военной теории, это невероятно, чудовищно.

Бой шел вплотную, как рукопашная схватка, где люди хватают друг друга за горло и душат. Но рукопашная схватка длится в окопе минутами, здесь она продолжалась месяцами. Бой шел в подвалах, на лестничных клетках, в оврагах, на высоких курганах, на крышах домов, в садах, во дворах – тесно было войне в Сталинграде. Люди вросли в камень, слились с городом в одно целое, и камни города стали живыми. В них слышались шорохи, человеческое дыхание, стук закладываемой обоймы.

Удержать Сталинград невозможно, но советские воины Сталинград удержали.

Как объяснить это?

Я помню слова начальника штаба 62-й армии, которую возглавлял генерал-лейтенант Чуйков. Начальник штаба работал в землянке, вырытой на самом берегу Волги. Он кашлял так, что больно было смотреть на него. Я думал, что он болен, и пожалел его, и сказал ему об этом, и он рассмеялся. Через полчаса я тоже стал кашлять, и тогда уже полковник пожалел меня и улыбнулся, и я понял, что кашель вызывается взрывными газами от немецких снарядов и бомб. [16]

Начальник штаба трудился невозмутимо и обстоятельно, как в московском своем кабинете, приказания по телефону отдавал вполголоса, давая тем самым понять своим подчиненным, что все в порядке, обстановка для работы нормальная. И в тот день я запомнил его слова:

— Если бы три недели назад мне сказали, что и сегодня мы будем в Сталинграде, я бы не поверил. Прижатые к Волге, без возможности маневра, с одной переправой... Нет, не поверил бы.

В то утро, когда происходил этот разговор, гитлеровцы бросили на поселок завода «Красный Октябрь» 130 танков с пехотой и автоматчиками. Бой развернулся в полутора километрах от землянки, в которой беседовал со мной полковник. Он продолжал:

— Кто может гарантировать, что через двадцать минут здесь не появятся немецкие танки и всем нам придется карабкаться на эти прибрежные кручи, чтобы выскочить, если до этого нас не прихлопнут? Это не только возможно, более чем вероятно. Тем не менее этого не будет.

Я спросил:

— Вы уверены, что вам удастся продержаться? Глядя на меня воспаленными от бессонницы глазами, полковник быстро ответил:

— Теперь да.

— Но ведь теперь вам труднее в тысячу раз, чем прежде, чем неделю, месяц назад.

— Да. Но теперь-то мы и узнали как следует наших солдат. Никто из них не хочет ни уходить, ни сдаваться. И они не уйдут, они верят в победу.

— Здесь?

— Да, — ответил полковник, — именно в этом положении и стоит верить в победу.

— Вы надеетесь на чудо? — спросил я.

Полковник усмехнулся.

— В советском военном лексиконе такого понятия нет. Мы надеемся на себя.

Вот что поражало всегда в Сталинграде. У солдат обороны даже в самые страшные дни не было чувства обреченности. Если немцы снова и снова переходили в наступление, — чем им ответить? Атакой! Так они действовали. [17]

Когда-нибудь наши потомки увидят в обновленном солнечном городе бережно охраняемые руины домов, где держались гвардейцы генерал-майора Родимцева, бросаясь в атаку в тот час, когда немцы уже считали их мертвыми. Взводами они гнали немецкие роты, батальонами гнали немецкие дивизии, и городские кварталы, овраги, высоты трижды переходили из рук в руки. Гитлеровцы считали это бессмысленной храбростью русских. Смысл русской храбости открылся врагам, когда их погнали от Сталинграда. Красноармейцы умели смотреть дальше и видеть больше, чем теоретики в фашистских штабах. Они знали, что рано или поздно их поведут в наступление. Это придавало им силы и в обороне.

Я ни разу не видел среди сталинградских бойцов людей с печатью уныния на лице, хотя были моменты, когда пасть духом могли бы самые сильные. Сами же гитлеровцы, несмотря на преимущества своего положения, вопили, что попали в ад. Теперь этот ад в памяти любых агрессоров действительно «останется навсегда, как если бы он был выжжен каленым железом».

Я помню день, когда народы мира — в Европе и за океаном — услышали сообщение, потрясшее умы, опрокинувшее обычное представление о возможном и невозможном, затмившее все, что знали в истории войн о доблести солдат и мудрости полководцев.

Русские под Сталинградом перешли в наступление.

Далеким наблюдателям это казалось невероятным. Считалось, что даже оборона Сталинграда есть чудо и советские войска, державшие подступы к Волге, пережили тот предел сверхмерного напряжения, за которым силы человеческие исчерпываются.

Большего от человека, самого отважного, самого стойкого, ждать нельзя. И вот, прижатые к Волге, окруженные, стиснутые со всех сторон дивизии Сталинградского фронта в полном взаимодействии с другими войсками Красной Армии переходят от обороны к решительному наступлению, берут гитлеровцев в кольцо, грозят раздавить всю армию фельдмаршала фон Паулюса.

Кто мог думать тогда, что внезапным и точно рассчитанным ударом советские войска выгнут стальную дугу немецкого окружения и муки Сталинграда превратят в победу Сталинграда, зажмут вражескую армию в тисках [18] тройного окружения, заставят гитлеровцев зарыться в землю, голодать, питаться кониной и, наконец, предъявив предложение о капитуляции, получив отказ, начнут планомерное уничтожение всех германских войск в районе измученного Сталинграда.

В те тяжелые дни, осенью 1942 года, это казалось настолько невероятным, как если бы залитая лавой Помпея восстала из огненной своей гробницы и в страшной жажде возмездия поглотила Везувий.

С первого дня обороны советские солдаты верили, что рано или поздно их поведут в наступление. Вот почему не было видно угрюмых людей в Сталинграде, в дымящихся расщелинах между камнями, где и дышать почти немыслимо, а люди там дрались; на прибрежном песке, где оборонялись бойцы генерала Родимцева, хотя песок не может быть крепостью; на переправе, где лодочники и капитаны стали солдатами невиданной битвы; в толще города, где рушились стены домов и камни становились щебнем и пылью, а советские люди оставались стоять против десятков и сотен танков противника.

Четверть века, прожитая с ленинской истиной в сердцах миллионов людей, стала и здесь гранитом на берегах русской Волги. Доблестная мысль снова, как год назад под Москвой, взлетела над войсками зовом к наступлению и победе. Когда не советские, а фашистские армии стали гибнуть под Сталинградом, выяснилось, что именно на этом участке фронта разыгралась решительная борьба не только между советскими и немецкими солдатами, но между гитлеровским генеральным штабом и генеральным штабом Красной Армии. И советский генеральный штаб победил. Победила железная выдержка. В самые страшные для всей страны дни готовился в полной тайне неожиданный и роковой для немцев удар. Это – победа советской военной мысли, советского плана войны. Это – победа ленинской партии, ее стратегического гения, ее веры в народ, ее несгибаемой воли к победе.

Настал час, когда сквозь бешеный рее берлинского радио, предвещавшего близость триумфального для гитлеровской Германии конца войны, сквозь тревожную перекличку радиостанций Европы и Америки, вопрошивших о судьбе Сталинграда, сквозь грохот пушек германской осадной артиллерии, [19] над душераздирающим гулом волжской битвы прозвучало:

— Вперед!

И гитлеровцы, окружавшие Сталинград, сами стали трижды окружеными, и гитлеровские генералы попали в плen вместе со своими голодными, оборванными, ошелевшими от страха солдатами, и страх от берегов Волги проник в далекую Германию, просочился во все немецкие дома, сковал оловянные сердца фашистских «фюреров», маленьких и больших, и самое острое жало вонзил в сердце бесноватого Гитлера.

Сталинград стал страшен Гитлеру, потому что Гитлер считал его преддверием к полной своей победе над советской страной и был убежден, что нет таких сил, которые способны были бы помочь русским в обороне волжского города.

Военные обозреватели многих стран предвещали неминуемое падение Сталинграда. Там, за океаном, мало кто мог думать, что десятки немецких дивизий завоюют от страха, спасаясь от встречного штурма, зароются в землю, падут духом, потеряют волю к сопротивлению, увидев, как измученный, окровавленный город всей своей нетленной человеческой силой поднимается навстречу убийцам и заносит над ними тяжелый меч возмездия.

Окруженным под Сталинградом гитлеровским армиям предъявляется ультиматум о сдаче. В назначенный ультиматумом час, секунда в секунду, повинуясь едва заметному движению часовой стрелки, сотни советских батарей открывают огонь, сотни советских бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков занимают фронт в небе, главенствуют.

На советской суше и в советском небе у Волги осуществляется доблестное «Вперед!» Это – ноябрь 1942 года. Поднятые из-под земли руки: гитлеровских солдат вытаскивают за шиворот из подвалов. Просунутые через проломы в стенах белые флаги: гитлеровские генералы сдаются в плен вместе со своими штабами. Монокли еще блестят у них под бровями, но в глазах свет потух.

Пленный фельдмаршал фон Паулюс предъявляет свои документы. [20]

Кончено.

Гитлеровцы хотели победно промаршировать через Волгу. Мы помним, как они прошли через Волгу – одинокая, колченогая фигура пленного в соломенных чунях плетется по льду.

Тишина.

Мир, пораженный стойкостью Сталинграда, ждал объяснения того, что казалось чудом. Люди, сотворившие чудо, ответили всему человечеству:

— Это наша воля, наша вера в победу.

Февраль 1943 года